

Содержание

Вера Бокова
«Просто» Иван Шмелев

7

ЛЕТО ГОСПОДНЕ

Праздники

23

Радости

170

Скорби

345

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Человек из ресторана

441

Неупиваемая Чаша

585

Комментарии

647

Для литературной критики предреволюционных лет Иван Сергеевич Шмелев (1873–1950) был представителем плеяды «новых реалистов», вступивших в литературу в одно время с И. А. Буниным, Б. К. Зайцевым, гр. А. Н. Толстым, С. Н. Сергеевым-Ценским – писателем, продолжающим классическую русскую традицию, в чем-то похожим на Чехова, в чем-то – на Тургенева и Достоевского или других великих. Его считали «художником обездоленных», «певцом бедных людей двадцатого века», бытовиком и традиционалистом – в общем, «правильным», слегка старомодным и скучноватым литератором, плодовитым, трудолюбивым и предназначенным главным образом для того, чтобы заполнять лакуны в литературных журналах.

Это была эпоха Серебряного века, и в окружении роскоши интеллектуального и художественного богатства, которое пало тогда на голову русского читателя, Шмелев представлялся добросовестным и скучноватым «среднячком». Властителями дум были совсем иные авторы.

Все же писал он много и действительно добротню.

В литературу вошел «со второго захода», хотя о том, что будет писателем, знал всегда. Писал еще в гимназии, писал много (и плохо), подражал всем известным авторам, отправлял свои опусы на отзыв разным знаменитостям (но ни разу ни одного отклика не получил), даже носил какую-то рукопись Льву Толстому, но не застал писателя дома. Об этом – забавный рассказ «Как я ходил к Толстому».

Впервые опубликовался в журнале «Русское обозрение» в 1895 г. Как и почти всякий дебют, рассказ «У мельницы» полностью подходил под определение «Слабовато, но что-то есть».

В 1897 г. вышла первая книга — «На скалах Валаама». Появление ее на свет было сопряжено с нерядовыми обстоятельствами. В 1895 году Шмелев женился. В то время он еще был и крайне молод, и не закончил еще обучения в университете, — собственно, был всего на втором курсе юридического факультета, и как личность пребывал в полном брожении. Детская наивная религиозность, о которой он так много и хорошо писал в «Лете Господнем» и «Богомолье», уже годам к 15 его покинула. Странно было бы, если б сложилось иначе. Религиозный скептицизм, как и радикализм политических убеждений были почти обязательны для его ровесников, а мальчишку-подростку невозможно не быть «как все».

В студенчестве Шмелев с головой погрузился в чтение, и помимо русских и зарубежных классиков, которых, по собственному его выражению, штудировал «с остервенением», он увлекался и Н.К. Михайловским, и философией позитивизма, и социализмом, и естественными науками — тоже «как все», и, разумеется, был и агностиком, и позитивистом, и либералом и даже чуточку революционером (отсидел две недели в Бутырьках за участие в студенческих беспорядках).

А юная жена его Ольга Александровна была набожна.

И именно по ее настоянию свое свадебное путешествие Шмелевы совершили... в Валаамскую обитель.

Перед поездкой посетили Сергиеву-Троицу; в Черниговском ските получили благословение у знаменитого старца Варнавы — того самого, к которому маленького Шмелева лет за пятнадцать до этого водили во время того самого, памятного первого «Богомолья», описанного в одноименной книге. Вновь, как тогда, пришлось долго ждать в толпе народа, пока выйдет батюшка. Хотели уже уходить, но он вышел и подозвал к себе. Посмотрел в глаза, предрек Шмелеву: «Превознесешь своим талантом» и благословил — «на путь». (То, как долог и тяжел будет этот «путь», писатель понял лишь много лет спустя, в Париже.)

Но на Валаам он приехал еще как турист и писатель: внимательный к островной экзотике, к проявлениям «народного духа», к специфике обители, которую Василий Иванович Немирович-Данченко за несколько лет до этого назвал «Мужицким царством». С этих позиций и была написана потом книга «На скалах Валаама».

Волей-неволей книга должна была конкурировать с очерками того же Немировича-Данченко, выдержавшими к тому времени

два издания, и это, возможно, предрешило ее несчастливую судьбу. Публиковать ее никто не стремился; Шмелев предпринял издание за собственный счет; имел потом цензурные неприятности, должен был вырезать и перепечатывать часть страниц, понес убытки, не смог распродать тиража и в конце концов чуть ли не на вес продал оставшиеся книги букинистам. Критика книгу проигнорировала. Лишь в каком-то социалистическом журнальчике слегка поругали с экономических позиций, а в другом вскользь одобрили «хороший слог».

Много лет спустя, вернувшись к этому юношескому опусу, Шмелев переписал его уже с других позиций — зрелого и глубоко верующего человека, — и получилась книга «Старый Валаам». А тогда, в 1897-м, он был глубоко огорчен и бросил писательство.

Вновь к этому занятию он обратился через много лет. Окончил университет. Год пробыл на военной службе. Разорился: все небольшие деньги, полученные после женитьбы из отцовского наследства, вместе с приданым жены они вложили в акции Ярославской железной дороги, но компания потерпела крах.

Потом служил несколько лет в провинции: в должности чиновника по особым поручениям в Казенной палате города Владимира — платили неплохо: 3 тысячи рублей в год, что при тогдашних копеечных ценах да в провинции для небольшой семьи было более чем достаточно.

Творческий простой пошел Шмелеву на пользу. Расширился личный опыт, добавилось впечатлений; к знанию московской городской среды — купеческо-мещанского мира, мастеровых — добавилось знание провинции, деревни, угасающего барства, уездного чиновничества. Шмелев созрел: он был уже «не мальчиком, но мужем», человеком при должности, добытчиком, отцом семейства и просто — отцом, обожающим своего единственного сына Сергея.

У Шмелевых так повелось (и это хорошо заметно по тексту «Лета Господня»): самые нежные и трепетные связи возникали у детей не с матерью, а — с отцом. Шмелев и сам потом не любил вспоминать о матери, хотя внешне соблюдал все традиции почтительности и заботы. Однажды вскользь рассказал В. Н. Муромцевой-Буниной, как маменька его порола в детстве: «веник превращался в мелкие кусочки». Зато о рано умершем отце вспоминал часто и с бесконечной любовью. И к сыну относился так же — с нежностью, заботливостью и гордостью, вникая во все мелочи его

становления и проживая вместе с ним всякий новый день. («Проводили тебя — снова из меня душу вынули», — годы спустя писал он сыну.)

Казенная служба тяготила, а загнанное внутрь творческое начало непрерывно напоминало о себе, рождая тоску и неудовлетворенность.

События 1905 года, встряхнувшие и сонную провинцию, наступившее в обществе возбуждение послужили для Шмелева своеобразным катализатором. «Я был мертв для службы, — рассказывал он позднее. — Движение девятисотых годов как бы приоткрыло выход. Меня подняло. Новое забрезжило передо мной, открывало выход гнетущей тоске. Я чувал, что начинаю жить».

В «Автобиографии» он напишет: «Помню, в августе 1905 года я долго бродил по лесу. Возвращался домой утомленный и пустой... Над моей головой, в небе, тянулся журавлиный косяк. К югу, к солнцу... А здесь надвигается осень, дожди, темнота... И властно стояло в душе моей: надо, надо... Вечером в тот же день я почувствовал необходимость писать...»

Родившийся в одночасье рассказ «К солнцу» был детский, для сына. Рукопись охотно приняли в журнале «Детское чтение» и быстро напечатали. Потом там же «с удовольствием» опубликовали второй детский рассказ. И родился писатель Иван Шмелев.

В 1907 году он оставил службу, собрал пожитки и вместе с женой и сыном вернулся в Москву — в общем-то, в неизвестность, на скудные и неверные писательские хлеба.

Впрочем, Шмелеву не пришлось жалеть о сделанном шаге: он много работал, много печатался и хорошо зарабатывал; его хвалили Короленко и Горький, под крылом которого, в издательстве «Знание», Шмелев публиковался несколько лет. К 1912 году, к своему сорокалетию, Шмелев набрал публикаций уже на целое собрание сочинений, и к 1916 году вышло 8 томов. Ему были присущи все черты «знаньевского» реализма — вера в науку, культуру, вообще в прогресс и в светлое будущее, которого можно достигнуть революционным путем.

Главным его триумфом этих лет стала повесть «Человек из ресторана» (1911), имевшая успех и у читателей, и у писателей.

Большим энтузиастом этой повести был Корней Чуковский. «Ваша вещь поразительная, — писал он Шмелеву. — Я хожу из дому в дом и читаю ее вслух, и все восхищаются. Я взял ее с собою в вагон, когда ехал к Леониду Андрееву, и в иных местах не мог от вол-

нения читать. ...Мне кажется, что я уже лет десять не читал ничего подобного».

Потом тот же Чуковский напечатал о «Человеке из ресторана» прочувствованный отзыв: «Реалист, “бытовик”, никакой не декадент и даже не стилизатор, а просто “Иван Шмелев”, обыкновеннейший Иван Шмелев написал, совершенно по-старинному, прекрасную, волнующую повесть, то есть такую прекрасную, что всю ночь просидишь над нею, намучаешься и настрадаешься, и покажется, что тебя кто-то за что-то простил, приласкал или ты кого-то простил. Вот какой у этого Шмелева талант! Это талант любви. Он сумел так страстно, так взволнованно и напряженно полюбить тех Бедных Людей, о которых говорит его повесть, — что любовь заменила ему вдохновение. Без нее — его рассказ был бы просто “рассказ Горбунова”¹¹, просто искусная и мертвая мозаика различных лакейских словечек, и в нем я мог бы найти тогда и подражание Достоевскому, и узковатую тенденцию («долгой интеллигентности!»), и длинноты, и сентиментальность. Но эта великая душевная сила, которую никак не подделаешь, ни в какую тенденцию не вгонишь, она все преобразила в красоту».

Повесть выдержала подряд несколько переизданий и почти сразу была переведена на одиннадцать языков.

В годы Первой мировой войны, отдавая дань популярной в то время военно-патриотической тематике, Шмелев обнаруживает (в цикле «Суровые дни», в который входит и рассказ «Оборот жизни») одно новое качество, важное для его зрелой личности и позднего авторства, — заметное мистическое чувство. Именно в эти годы, окрашенные тревогой за сына, которого в 1915 году призвали в армию, а через несколько месяцев офицерского училища отправили на фронт, Шмелев понемногу возвращается к Богу и начинает испытывать постоянный интерес к знамениям и предсказаниям, — всему тому, что было связано и с общим народным отношением к войне.

Февральскую революцию Шмелев встречал все еще «либералом» и «прогрессистом». Он с энтузиазмом приветствовал падение «старого режима», славил Керенского, осуждал Корнилова и не одобрял большевиков главным образом как партию одного класса, а не всего народа. Он с упоением отдался событиям и вско-

1 Горбунов И. Ф. (1831–1895) — литератор-бытописатель, автор сцен из народного быта, в которых (почти исключительно в диалогах) изображал типичных представителей различных слоев общества).

ре поехал корреспондентом «Русских ведомостей» — вместе с поездом, отправленным Временным правительством в Сибирь за освобожденными политкаторжанами.

Его очень порадовало, что революционеры-каторжане его читали; «они мне на митингах заявили, что я — “ихний” и я их товарищ. Я был с ними на каторге и в неволе, — они меня читали, я им облегчал страдания».

Поезд мчался, утопая в цветах, восторгах и словопрениях, сквозь митинговые волны, но чем дальше, тем больше радостно-возбужденного Шмелева царапали то и дело прорывавшиеся в речах ораторов застарелая злоба и ненависть, призывы к насилию.

Сказать, что поездка заставила его пересмотреть свои взгляды на революцию, было бы неверно — убежденным «белым» Шмелев станет только в эмиграции, после постигшей его трагедии, но какие-то сомнения, безусловно, были заронены. «Глубокая социальная и политическая перестройка сразу немыслима даже в культурных странах, — несколько месяцев спустя писал он сыну, — в нашей же и подавно. Некультурный, темный народ наш не может воспринять идею переустройства даже приблизительно».

В 1918 году, спасаясь от голода, семья Шмелевых уезжает в Крым, в Алушту, где им удалось купить небольшой дом. Писатель покидал Москву бодрым и молодежавым сорокапятилетним «молodчиком». Через пять лет он вернулся — сгорбленным и иссохшим полуслепым стариком с угасшим взглядом и неуверенной шаркающей походкой.

В Крыму он прошел через все ужасы Гражданской войны и красного террора. Пережил смену шести правительств, проводил к Деникину мобилизованного сына (и встретил его потом больным, в чахотке). Голодал, бедствовал, видел грабежи и бесчинства. Пропустил через сердце беспримерную девальвацию человеческой жизни. Наблюдал эвакуацию войск Врангеля. Сам отказался уехать — в то время жизнь вне родины еще казалась ему невозможной.

С установлением новой власти кошмар лишь усилился. В одной из статей 1920-х годов Шмелев писал: «Все солдаты Врангеля, взятые по мобилизации и оставшиеся в Крыму, были брошены в подвалы. Я видел в городе Алуште, как большевики гнали их зимой за горы, раздев до подштанников, босых, голодных. Народ, глядя на это, плакал. Они кутались в мешки, в рваные одеяла, подавали добрые люди. Многих из них убили, прочих сослали в шахты.

Всех, кто прибыл в Крым после октября 17-го года без разрешения властей, арестовали. Многих расстреляли. Убили московского фабриканта Прохорова и его сына 17 лет, лично мне известных, за то, что они приехали в Крым из Москвы — бежали.

В Ялте расстреляли в декабре 1920 года престарелую княгиню Барятинскую. Слабая, она не могла идти — ее толкали прикладами. Убили неизвестно за что, без суда, как и всех...

...За два-три месяца — конец 1920 и начало 1921 года — в городах Крыма: Севастополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Алушке, Алуште, Судаче, Старом Крыму и прочих местах, было убито без суда и следствия до ста двадцати тысяч человек — мужчин и женщин от стариков до детей...

Свидетельствую: я видел и испытал все ужасы, выжив в Крыму с ноября 1920 по февраль 1922 года».

Сам Шмелев, как «царский» офицер запаса, тоже подлежал регистрации и неизбежному расстрелу, но был спасен каким-то «комиссаром», видимо, из числа тех, чьи «страдания» писатель «облегчал» своими книгами.

А вот сына Сергея спасти не удалось. 3 декабря 1920 г. его забрали прямо из больничной палаты и в январе 1921 г. расстреляли. Несколько месяцев Шмелев обивал официальные пороги, пытаясь узнать о судьбе своего мальчика, но получал в лучшем случае отписки, что сын его «отправлен на Север». О том, как все было на самом деле, писателю стало известно через полтора года, во Франции, от случайно встреченного очевидца.

В начале 1922 г. Шмелев вновь был в Москве. Хорошо знакомый с ним писатель И. А. Белоусов вспоминал: «Вместо живого, подвижного и всегда бодрого, я встретил согнутого, седого, с отросшей бородой, разбитого человека».

По приглашению Буниных Шмелевы выехали на отдых и лечение за границу. Выехали налегке (после Шмелев очень горевал, что, собираясь в отъезд, не взял с собой ни одной иконы, особенно жалел о «Троице» — отцовском благословении). Собирались лечиться и — вернуться туда, где мог находиться их сын. Но узнали, что с сыном случилось — и не вернулись. Ни забыть, ни простить происшедшего Шмелев так и не смог. Но, ненавидя и проклиная красную власть, он никогда, ни единым словом не упрекнул ни Россию, ни русский народ.

В Крыму Иван Сергеевич почти не писал. В самом начале, в Алуште, появилась «Неупиваемая Чаша», работа над которой стала

для потрясенного происходящим писателя своего рода убежищем. Он вспоминал потом, что написалась «Чаша» — «...случайно. Без огня — фитили из тряпок на постном масле, в комнате было холодно +5–6. Руки немели. Ни одной книги под рукой, только Евангелие. Как-то неожиданно написалось. Тяжелое было время. Должно быть, и адо было как-то покрыть эту тяжесть. Бог помог».

«Неупиваемая Чаша», которая позднее своей «чистотой и грустью красоты» восхищала Томаса Манна, подвела черту под российским периодом творчества Шмелева и обозначила то новое, чем оно отныне должно было отличаться. Сюжетно и жанрово тяготея к П. И. Мельникову-Печерскому и особенно к Н. С. Лескову с его «Запечатленным ангелом», повесть обозначила принадлежность к литературно-сказовой традиции, которой Шмелев с этих пор не изменял, а кроме того, указала будущую его главную тему — художественное исследование православного мировоззрения, пронизывающее все составные части повествования — его сюжет, фабулу, композицию и тип сознания героев. С «Неупиваемой Чашей» в творчество Шмелева вошли глубокий трагизм и эпичность. И была эта книга творением человека, вновь обретшего Бога.

Во Франции началась другая литература. Шмелев как-то сразу «записал» новым стилем, в котором нашлось место и его собственным, шмелевским разговорным интонациям, и накопленному в России словарному богатству и редкому лексическому чутью. Это был совершенно оригинальный и одновременно очень узнаваемый стиль. Как писал А. И. Куприн, «его узнаешь сразу, по первым строкам, как узнаешь любимого человека издали, по тембру голоса. Вот почему Шмелев останется навсегда вне подражания и имитации».

В Грасе у Буниных он заканчивал эпопею «Солнце Мертвых» (1923), книгу о пережитом в Крыму, одну из самых страшных книг, пользуясь выражением А. В. Амфитеатрова, написанных на русском языке.

Эта книга принесла Шмелеву европейскую известность. Его выдвинули на Нобелевскую премию (которую потом вручили все же И. А. Бунину). Он получил множество восторженных отзывов от европейских литераторов и сразу и навсегда занял значительное место не только в эмигрантской, но и в мировой литературе, как автор, творчество которого «выходя из рамок национальной литературы, обрело общечеловеческое значение» (Р. Киплинг).

Вместе с тем слава не доставила писателю никаких особенных житейских благ. Он не разбогател во Франции, не почил на лаврах, не успокоился душой. Было, конечно, и хорошее — сердечная дружба с семьями генерала А. И. Деникина и философа И. А. Ильина, прекрасная природа, иногда даже чем-то напоминавшая русскую, восторженная и трогательная любовь читателей, многие из которых впоследствии буквально «кормили» Шмелева, присылая ему в годы войны продуктовые посылки, и, конечно, слали теплые и трогательные письма. Была даже почти отцовская привязанность к внучатому племяннику жены — маленькому Иву Жантийому (которому Шмелев в «Лете Господнем» рассказал про русское Рождество).

И все же больше было тяжелого труда (особенно тяжелого, потому что писатель постоянно болел), скудного достатка, постоянных скитаний с квартиры на квартиру, в поисках угла то более дешевого, то спокойного, а главное — непреходящей душевной тоски. «Все чужое, все чужое», — то и дело повторял Шмелев.

Вновь и вновь проживая случившееся, он работал над «Няней из Москвы» (с 1926 по 1933 г., опубликована впервые в 1935 г.). Шмелев писал К. В. Деникиной: «Наши интеллигенты, пожалуй, покрутят носом от этого рассказа няньки. А ведь надо, чтобы масовый человек высказался обо всем, народный человек. Так что этот роман — как бы своего рода «Человек из ресторана», от малых сих, народ. Ну, и судит от своей правды — пусть нутряной, подплечной. И су...дит... го...спод!».

В трагедии семьи Вышгородских и подобных им интеллигентов Шмелев в опосредованном виде отразил, в общем-то, и свой путь, и судьбу своей души: от утраты Бога и обожествления самовластного разума и человеческой воли, через посланные революцией страдания к раскаянию и новой Вере, а вместе с ней и к новому духовному смыслу.

Дорога страданий и изгнания, которую приходится пройти героям, превращается в символический путь освобождения от ложных кумиров, путь к самим себе, к нравственному возрождению, пониманию глубинного смысла происшедшей катастрофы и — к очищению души, без чего невозможно и грядущее возрождение России.

Из тоски по родине, ее природе и людям родились автобиографические в своей основе романы «Родное», «История любовная», «Богомолье», «Лето Господне».

В них Русь предстает и светлой, и святой — единственно такой, какой мог ее видеть изгнанник и его чистые душой юные герои, еще не зараженные ядом рефлексии и нигилизма.

По сути, все эти шмелевские вещи стали своего рода надгробной речью той России, которую писатель помнил. Говорилось только о лучшем, о том образе Родины, который некогда за будничностью своей едва замечался, но стал очевиден, лишь когда исчез.

Теперь, на чужбине, в воспоминаниях, все это — и хруст снега, и зимние лиловые дымы, и колокольный звон, и свежесрезанные Троицкие березки, и ландыши, и павшая с дерева грушовка — было еще прекраснее, ярче, звонче, ароматнее, сочнее, чем в действительности.

Однажды Шмелев писал И. А. Ильину, вспоминая Пасху: «...теплый кулич... нож тонкий и остро-острый и чуть смоченный... взрезает шафрановую пучину, через которую можете видеть солнышко, сирень, соловьев, синь неба через “дыхальца”, через прозрачность лабиринтов-дырочек... такой запах пасхальный — весенний-свежий и божественный. Вы берете такую вот “пухлость”, с кулак, вздрагивающую и дышащую, осторожно вмещаете в “антрэ” и... чуть языком нажали и чуть ароматным чаем облили со сливками... !!!??? — и растаяло, как облако в лазури, как оборвавшаяся трель соловьиная... А-а-а-а-ах!»

Это писал человек с тяжелейшей язвой желудка, которому ничего было нельзя, который мог лишь вспоминать — и делал это именно так: памятью, подобной ясновиденью.

Он создал образ Родины — концентрированный, очищенный от шелухи случайностей, немислимо прекрасный; создал любящим и горяющим сердцем. Именно поэтому книги Шмелева, в том числе и лучшая, вероятно, из всех, — «Лето Господне», производили и производят на читателя столь сильное впечатление.

Если для современного человека это — вызывающий ностальгическое умиление кладезь столь ценимых ныне религиозных преданий и бытовых примет, а еще — книга о лучшем и наиболее гармоничном периоде старой Москвы, то для очевидцев, разлученных с Россией, — это была до иллюзии объемная и живая картина их утраченного мира.

Когда 90-летний эмигрант Василий Иванович Немирович-Данченко томился перед смертью желанием «еще раз побывать в России», он просил читать себе книги Шмелева.

После выхода первой части «Лета Господня» Шмелев получил письмо из Русского дома в Сен-Женевьев-де-Буа. Один из обитателей несколько вечеров кряду читал вслух главы из книги. Читал по заботливо собранным газетным вырезкам: книжного издания в доме еще не было. «Свыше полсотни подписей-имен, — рассказывал Шмелев, — графы, князья, бароны, генералы, шталмейстеры и егермейстеры даже... Между старыми российскими именами бывшими... — привет-признание... Слезы мне прислали, и я заплакал. Плакала природа, мать в небе, мать была в душе... Троицын-то день! И вот блеснуло... родной привет».

До Шмелева ни одному русскому писателю не удавалось так убедительно и оригинально изобразить бытовую религиозность в ее органичной связи с повседневностью, в ее историзме и вневременности.

Рецензируя роман, Анри Труайя писал: «... рядом с календарем дней идет календарь совести. Движение солнца в небе сопровождается движением внутреннего солнца души...» — и далее Труайя повторял мысль Редьярда Киплинга: «Иван Шмелев, сам того не сознавая, ушел дальше своей цели. Он хотел быть только национальным писателем, а стал писателем мировым».

Пока писалось (и выходило отдельными частями) «Лето Господне» (1927–1944), Шмелев похоронил жену, с которой был неразлучен 40 лет, пережил оккупацию и окончательно потерял здоровье. Он вынашивал и в муках писал свой последний (оставшийся незавершенным) роман «Пути небесные» — о дороге русского интеллигента к вере, и сам все теснее принимал к Богу. Для него все более очевидны становились признаки непосредственного вмешательства Божественного Промысла в его собственную жизнь. По меньшей мере, дважды он сам становился объектом чуда. В первый раз это было накануне уже назначенной операции в одной из парижских клиник. Шмелев горячо молился своему излюбленному святому Серафиму Саровскому (в Париже у него появилась даже иконка Св. Серафима, подаренная одной из читательниц), и ночью увидел сон, в котором написанный в медицинской карте диагноз исчезал, покрываемый уверенной надписью: «Св. Серафим». Наутро писатель проснулся здоровым; врачи, как ни старались, не могли обнаружить и следа недавней язвы.

Второй случай произошел в 1943 году. 3 сентября, в 9.45 утра, когда Шмелеву давно уже полагалось сидеть за письменным столом, он еще лежал в постели. И в этот момент началась бомбежка.

Два здания на противоположной стороне улицы превратились в развалины. В квартире Шмелева были выбиты все окна. Придя в кабинет, он увидел торчащие из спинки своего рабочего кресла острые, как кинжалы, осколки стекол. Пол был завален битым стеклом и всяким мусором, а сверху лежала бумажная картинка — Бог весть как попавшая в комнату репродукция с итальянской картины «Богоматерь с Иисусом». Позднее, обрывая листок календаря за этот день, Шмелев увидел на обороте отрывок из своего собственного очерка «Заступница Усердная», кончавшийся словами: «Все под Ней. Она Царица Небесная».

Он так и остался в убеждении, что в тот день Богородица спасла его, — и, наверное, был прав. Во всяком случае, конец ему Господь послал исключительный.

Еще после смерти жены Шмелев стал подумывать о том, чтобы провести конец жизни возле какого-нибудь из русских монастырей, которые во множестве возникли тогда на чужбине. Не в самой обители — на иноческий подвиг он не считал себя способным, но под монастырскими стенами, чтобы засыпать и просыпаться под благовест и иметь возможность во всякое время говеть и молиться.

После перенесенной в декабре 1949 г. операции на желудке Иван Сергеевич понял, что время пришло. «Бог дал грешнику жизнь, а это обязывает. Хочу жить настоящим христианином, и смогу это осуществить только в церковном быту», — говорил он.

24 июня 1950 г. друзья повезли его в расположенный в 150 км от Парижа монастырь Покрова Божьей Матери в Бюси-ан-Отт, при котором имелся маленький пансион для паломников. Они ехали через Булонский лес, сделали остановку. Пели птицы — июнь! — зеленела трава, пестрели полевые цветы — почти как в России. Шмелев был в восторге. Он с нетерпением выглядывал монастырские стены, с упоением слушал дальний колокол, потом умиленно смотрел на отведенную ему комнату, съел несколько ягод малины из монастырского сада... В 9 часов вечера стал ложиться — и умер. Счастливым.

В. Бокова.

ЛЕТО ГОСПОДНЕ

Праздники. Радости. Скорби